

СИНТАКСИС

ПУБЛИЦИСТИКА

КРИТИКА

ПОЛЕМИКА

12

ПАРИЖ

1984

Журнал редактирует :

М. РОЗАНОВА

**The League of Supporters: Т. Венцлова, Ю. Вишневская,
И. Голомшток, А. Есенин-Вольпин, Ю. Меклер,
М. Окутюрье, В. Турчин, Е. Эткинд**

**Мнения авторов не всегда совпадают
с мнением редакции**

€ SYNTAXIS 1984

Адрес редакции:

**8, rue Boris Vilde
92260 Fontenay aux Roses
FRANCE**

СОВРЕМЕННЫЕ

ПРОБЛЕМЫ

Г. Померанц

АКАФИСТ ПОШЛОСТИ

1. Лищедеи

Я хотел начать этот опыт с обзора трех томов журнала "На перекрестке" (редактор и основной автор — о. Дмитрий Дудко). Обзор давно готов; но журнал — машинописный, распространяется среди паствы. Этика спора заставляет действовать тем же оружием, т.е. полупублично. Пришлось перепечатать обзор на машинке, для друзей, и оставить право первой типографской публикации текстов за автором. Иначе всегда можно обвинить обозревателя в искусственном надергивании фраз из разных мест, а проверить негде. Кроме того, обзор может преждевременно удовлетворить любопытство публики и помешать авторской публикации. А мешать здесь мне не хочется. Напротив, я настоятельно рекомендую журнал историкам, социологам, психологам.

Как-то надо теперь начать иначе. И вот думал я, думал и вспомнил последнюю, самую яркую пору моей затянувшейся молодости — конец 50-х годов. Я жил тогда в одном из близких к Москва-реке переулков, по которым Бездомный гнался за Бегемотом, и наша с Ирой комната (немногим менее 7 квадратных метров) обладала свойством квартиры Воланда: когда приходили гости, они все как-то размещались. Собиралось до десятка человек, один раз —

Прислано из России.

даже одиннадцать (сидели тогда на подоконнике, на полу)*.

Говорили обо всем на свете, как в Гайд-парке (политических табу у нас не было), но чаще всего — о стихах (Ира газет не читала, а стихотворений знала наизусть не менее 1000). Иногда какой-нибудь легкомысленный гость вспоминал Евтушенко. Тогда один из сыновей Иры произносил:

Постель была расстелена,
А ты была растеряна...

Несколько голосов сразу же подхватывало хором:

И говорила шепотом:

”А шшто потом? А шшто потом?”

Евгений Евтушенко был для нас символом пошлости. Где-то очень близко к нему стоял и Вознесенский, но пальма первенства бесспорно отдавалась Жене. Привычка к объективности заставила меня прочесть пару его сборников. Там были стихи получше, даже совсем хорошие. Только не на общественные темы. От гражданственности Евтушенко меня всегда тошнило. Кажется, он с юности привык, что патриотические и т.п. темы требуют наигрыша, и с тем же привычным вывихом хромал на левую ногу. В царствование Никиты рядом с государственным рынком для произведений ума человеческого начал складываться и частный. Евтушенко одним из первых понял возможности этого рынка и потрафлял двум господам сразу. На публику — ”Наследников Сталина”, ”Бабий Яр”; а когда прикажет начальство, Пегас отвозил в заготконтору несколько мешков по госпоставкам. Смелости у Евтушенко хватало (как у многих спекулянтов), но не было ничего за душой, ради чего стоило бы пойти на костер (это чувствовалось). И бросалось (мне, по крайней мере) в глаза, что в его стихах нет ни одной новой политической мысли. Только рифмованные общие места.

Зато читал он свои стихи превосходно. Плохих в его

* Ср. воспоминания об Ире Муравьевой, ”Синтаксис” № 8.

исполнении не было. Только хорошие и отличные. Я с трудом отделял текст от исполнения. Непосредственно Евтушенко захватывал. Такой артистизм невозможен без известной доли искренности. Только не надо смешивать ее с искренностью человека, который так стоит и не может иначе. Бывает еще искренность актера, умеющего вжиться в роль. Сегодня — Алексей Турбин, завтра — Владимир Ильич, послезавтра — Леонид Ильич...

Я не хочу сказать, что все актеры — лицедеи. В исполнении роли может быть и суд над этой ролью, в котором сказывается подлинное лицо. Но профессия прямо требует от актера вжиться в личину, которую надел; и соблазн подмостков, рампы, аплодисментов — более непосредственный, более чувственный, чем искушения пишущей братии. Актеру труднее, чем кому бы то ни было, забыть о зрительном зале. Грешат полуискренностью и поэты, и проповедники, и политические лидеры, но слово "лицедей" собственно и значит — актер, только с отрицательной нравственной характеристикой его ремесла (так же как самовластие — то же самодержавие, но с точки зрения возмущенного им сознания). И Евтушенко — бесспорно лицедей. Его вдохновение неотделимо от тщеславия, от желания бросить в публику выигрышную реплику и сорвать аплодисменты. С ловкостью спекулянта, торгующего контрабандой: сексуальной революцией и либерализмом.

Поставим рядом трех поэтов: Высоцкого, Евтушенко и Коржавина. В Высоцком очень много стихийной силы, у Коржавина больше выстраданной мысли: "Но у мужчин идеи были. Мужчины мучили детей...". У Евтушенко есть и певучесть, и способность к поэзии мысли. Но Высоцкого и Коржавина, решительно не похожих друг на друга ни в чем, объединяет одно: то, что они свой талант не продают, что они своим жаром души не спекулируют. А Евтушенко именно это и делает. Талантливо, артистически — продается. Играет — на публику.

С середины шестидесятых годов литература перестала быть единственным выражением общественного сознания. Начались движения: демократическое, правозащитное, национальное, религиозное... И сразу появились правозащитные лицедеи, церковные лицедеи... Лицедей следует за ис-

тинным деятелем, как тень. Плохих лицедеев легко раскусить. Но есть лицедеи хорошие, отличные.

Петр Григорьевич Григоренко очень просто и убедительно показал различие наигранной храбрости Михайлова от действительного мужества (Васильева, Гольдштейна, Леусенко, Тимофея Ивановича). Портреты фронтовиков в его воспоминаниях заставляют вспомнить Лермонтова (Грушницкий и Максим Максимыч). И в политике Григоренко сразу отсеивал мелких лицедеев (примеры читатель найдет в его книге). А Сталин долго владел его душой, и даже после XX-го съезда Петр Григорьевич возмущался: зачем устраивать канкан на могиле великого человека*

В политике все мы ошибались, все мазали, хотя бы в своей профессиональной сфере с ходу угадывали наигрыш, фальшь. В политике все мы дилетанты. И только испытание крестом обнаруживало, кто такой Якир, кто такой Дудко, кто такой Регельсон...

У лицедейства тысяча лиц. Есть лицедеи тщеславные — и лицедеи демонические. Я думаю, что Сталин тщеславным не был. Его страсти уходят ниже в глубину ада: "иметь врага, уничтожить его — и выпить бутылочку хорошего вина..."**. Якир (судя по книге Григоренко) — противоположный случай. Слабый человек, довольно искренний, но вытолкнутый случаем в исторические лица и не способный расстаться с красивой ролью. Петр Григорьевич угадывал, что Петя испытания не выдержит, и советовал ему отойти от движения. Но для открытого признания своей слабости нужно нечто, для Григоренко естественное и само собой разумеющееся, но совсем не частое: нетщеславное мужество. Петр Григорьевич совершенно лишен тще-

* Ср. Петро Григоренко. В подполье можно встретить только крыс. Нью-Йорк, 1981. — Видимо, надо различать знаменитых людей и людей великих. В величии есть что-то духовное. Я признаю известное величие в Солженицыне. В Сталине, Гитлере этого духовного величия я не признаю. "Человекоорудия", использованные демоническими силами, они сами по себе ничтожны. Яростные, хитрые ничтожества и пошляки. Медиумы массовой пошлости, которая захватывает и подавляет (в том числе чистых и сильных людей) своей массой, мощным полем, созданным миллионами слабых волей.

** По воспоминаниям Г. Серебряковой.

славия, и временами он забывает, какая это великая страсть, как она может раздуть малую душу и сделать ее как бы великой — до самых границ подвига и жертвы. Особенно в правозащитном движении, благодаря общей ауре подвига и жертвы, окружающей его. Горе-герой отталкивается, когда он решительно надут тщеславием, вот-вот лопнет (Красин). Но если только слегка поддут, если личина сохраняет черты естественного лица, то он может быть очень обаятелен, и к нему привязываешься, веришь, что сила, толкающая его действовать, больше страха (толкало же призвание Мандельштама, пугливого, как ребенок). Веришь, что придет к нему второе дыхание, — а оно не приходит, и вместо добросовестного банкротства, вместо честного отказа от роли, оказавшейся слишком опасной, — банкротство злостное, с показом по телевизору...

Опыт последних десятилетий обогатил нас целым паноптикумом мнимых героев, и хочется наметить хотя бы некоторые основные типы в этом классе. Вот, например, о. Дмитрий Дудко — священнолицедей. Если бы не тщеславие, он был бы хорошим, добрым, отзывчивым приходским священником. К несчастью, Дудко графоман. Он одержим страстью писать и печатать. В нормальных гражданских условиях ничего страшного из этого не вышло бы (скорее всего, просто ничего бы не вышло). А у нас можно купить право печататься за границей имитацией гражданского мужества, и Дудко входит в роль — а потом шаг за шагом пьянеет от собственной смелости и дани восхищения, вызванного мужественным словом. На проповеди Дудко собирается цвет столицы, и почти никто не видит, что слово Дудко — актерское слово, что он способен играть только перед рампой, под аплодисменты... А наедине, в камере — не было больше контакта с публикой, и дух оставил свой сосуд, а победил смердяковский шкурный страх.

Духовные дети о. Дмитрия обманулись, потому что они очень хотели увидеть подвижника, которого о. Дмитрий играл (и играл искренне; он сам хотел быть тем о. Дмитрием Дудко, которого играл, и до известной черты это у него выходило). Обманулись люди очень образованные, которым слабости мысли Дудко не могли не кидаться

в глаза. Но они во многом сомневались, они не были уверены в себе и в своей вере, а Дудко лицедействовал и являл им тот самый образ, которого они хотели. Образ простой, цельной веры. Которой у него не было! Вера, религия — это связь, связь с Богом. Тут стены тюрьмы не помешают. А у Дудко вера была слабенькая, пунктирная, решала связь с людьми, с поклонниками его проповеднического таланта, с публикой. Ловцы душ учли это, использовали его тщеславие, изобразили из себя духовных детей, готовых объединиться с пастырем на почве общего советско-русского патриотизма, — и Дудко пал. А потом пишет, пишет, пишет, оправдывается, обвиняет, исписал несколько сот страниц прозы и стихов. Есть что-то мучительное (если не мученическое) в этой трагикомедии графомана, что-то подобное страсти игрока или алкоголика... Сравнительно с темными лицедеями, лицедеями-провокаторами, гедонистами бесстыдства (о некоторых из них см. ниже), — это тип лицедея-страдальца. Но — увы! — пошлого страдальца. Страждущего в своей пошлости-страсти и пошлого в своем страдании. Тяжело читать панегирик Дудко, который П.Г. Григоренко не успел вычеркнуть из своей книги...

2. Человек в царстве химер

Заговорив (в который раз) о воспоминаниях Петра Григорьевича Григоренко, я хочу задержаться на них. Это даже необходимо, чтобы не терять общечеловеческого масштаба, чтобы рядом с подлинным героем рассеялось само собой очарование призраков. Какая-то пружина постоянно поворачивает этого Петра-воина к добру. До всяких идей. Сквозь идеи, вопреки идеям... Какой-то неисповедимой властью Святого Духа. Начиная с прыжка в окно одиннадцатилетнего Пети, с высоты полутора этажей (т.е. двух нынешних) в кучу мальчишек, бивших скопом одного, маленького, чужеродного — кончая ударом ребром ладони по горлу санитаря, избивавшего душевнобольных в черняховской психушке.

Я познакомился с Петром Григоренко в споре, ему было больно слушать некоторые мои возражения, но он со-

вершено не злился; по лицу его пробежали тени страдания, но никогда не злости. И потом, несколько лет спустя, когда наши встречи возобновились, я поражался, как мягко он отвечает своему инавлиду-пасынку, когда тот прерывает наши встречи возобновились, я поражался, как мягко он отвечает своему инвалиду-пасынку, когда тот прерывал разговор своими не очень связными речами. Никогда ни тени раздражения... * Тем больше волновали меня, читая книгу, сцены, когда Петр Григорьевич взрывался. Всегда — на тех, кто сильнее, на тех, кто хамит, от кого он зависит (а не кто от него зависит). И как Григоренко умел осаживать хамов! И как он прав, говоря, что не было бы и хамства, если бы все умели осадить хама! Вот когда правозащитное движение нашло бы, наконец, почву!

Если искать истоки характера в детстве, то две самые замечательные черты маленького Пети — нежность, ласковость — и вспыльчивое чувство собственного достоинства. Был огненно рыжим, дразнили жестоко, и научился драться, защищать свое достоинство. А отзывчивость заставила драться за всех рыжих — до крымских татар и немцев Поволжья... Что-то было заложено в этом ребенке с рождения. И не зря цыганка так упорно добивалась погадать самоуверенному, отталкивавшему ее комсомольцу (и все ведь нагадала правильно: военную профессию, долгую жизнь, мучительные испытания старости).

В книге на 800 страниц есть свои длинноты. Но она глубоко поэтична. Все время "есть, кого любить"* . Все время испытываешь радость общения с человеком, которого до боли не хватает в жизни. Огромный поток событий, прошедших через ум и сердце. Много фактов, которые поражают, захватывают, рожают новые мысли. И все же главное — не они, а сам Петр Григорьевич. Это история возвращения к вере, неотделимой от нравственных позиций в нашем брэнном мире. К вере, которая немедленно рожда-

* Почти все товарищи по несчастью этого инвалида детства умирают в юности. Проф. Эфраимсон считает мягкость П.Г. Григоренко одним из факторов, позволивших Олегу выжить и развиваться до способности читать книги.

* Выражение одной читательницы.

ет дело. К тому, что потеряла историческая церковь и что русская интеллигенция пыталась утвердить без Бога — в революционном действии. И потому это также возвращение к лучшему, что было в подвиге Радищева, декабристов, семидесятников... В жизни Петра Григорьевича это лучшее возвращается на почву веры, очищенную бурями от раболепия и корысти. И пусть рай на земле — утопия и соблазн, но борьба за то, чтобы жизнь не стала адом — совсем не утопия, все доброе в истории — через эту борьбу, и дай Бог России побольше такой веры и такой борьбы! Со способностью любить свой народ без ненависти к другим народам и без всяких счетов с ними, со всегдашней готовностью пойти против своей толпы, за теснимое толпой меньшинство...

Следуя за рассказом Петра Григорьевича, можно понять, как революционные идеи завладели Россией. Утопия, окрылявшая коммунистов, складывалась сотни лет. Форма, которую придал ей Маркс, — только некое пустое зеркало, в котором витают призраки Мора, Фурье, Сен-Симона. Социализм Маркса — такая же утопия, только не открытая, как у Фурье, а скрытая. Маркс отказался от попыток рисовать будущее, но не отказался от веры, что утопические картины чему-то соответствуют, что-то предвосхищают. Сквозь фигуры диалектики и теорию классовой борьбы светится золотая мечта Нового времени. Она не может не вызвать отклика в человеческом сердце, и даже Достоевский, величайший критик утопии, заплатил ей дань в "Сне смешного человека". Я не знаю, был ли Томас Мор святым, не примещивалась ли и к его созерцаниям воля к власти. Но в основе своей утописты — добрые безумцы. И пока их мечты носятся над историей, как золотой сон, зла в этом сне нет. Так утопистов чувствовали поэты, так они их воспели:

Если к правде святой
Мир дороги найти не сумеет,
Честь безумцу, который навеет
Человечеству сон золотой...

Во сне можно влезть на стену и ходить по потолку и

испытывать чувство свободы от тяжести. Но как только требуется совершить все это наяву, начинается кошмар. Лезешь на стену, срываешься, злишься. Если не сомневаешься в идее, то есть только одна причина неудач: мешают враги, вредители, двурушники... И вот каждые несколько лет новая судорога, новая кампания борьбы с врагами народа. Пока сон утопии не развеется. Или пока к власти не придет палач, которому утопия — только для отвода глаз, а на самом деле лишь бы вешать, раздавливать пальцы дверью, сажать задом на ножку табуретки и проч.

На Западе утопия осталась сном. Левеллеры, Робеспьеры быстро сходили со сцены. Заговоры Бабефа и Бланки проваливались. Не было на Западе общественного слоя, готового выпрыгнуть из истории в утопию, полезть на стену. Отдельные мечтатели были, отдельные волны сочувствия они вызывали, но не было интеллигенции, выбитой вестернизацией из своей местной традиции и не укоренившейся как следует в западной. Не было народа, помнящего Разина и готового еще раз попробовать то же самое. Не было способности власти к прыжкам, — того, что Щедрин назвал административным восторгом, — традиции Грозного и Петра (в России), Цинь Ши-хуанди, Ван Мана, Ван Ань-ши (в Китае). Утопия победила там, где с древности были порывы к утопии. И победив, она тотчас себя обличила...

Разобраться во всем этом Петр Григоренко никак не мог. И поток его захватил. Толкнуло к красным отвратительное впечатление от белого террора. И захватила мечта о справедливом строе. Красивая мечта. А потом начались испытания, и Петр мужественно шел через них, не теряя своей веры, и боролся с извращением идеи. А извращения все нарастали. Жизнь в 30-е годы, как она описана в воспоминаниях, — какой-то параноидный бред, поток кошмаров: организация массового голода, истребление собственной армии. И как итог — катастрофа 22 июня 1941 года.

Почти чудо, что Петр Григоренко уцелел. Ему удастся дважды сорвать дела о вредительстве и добиться освобождения арестованных. А в 1938 году, вместе со старшим братом, красным партизаном Иваном Григоренко, арестованным в Запорожье и через месяц выпущенным без паспорта (чтобы без нового оформления арестовать, если откажется

быть стукачом), он выиграл целое сражение с НКВД. Это замечательная история. Иван Григорьевич, прямо из тюрьмы, не заходя в квартиру, едет в Москву и (в ванной, пустив шуметь воду) рассказывает брату, что он видел и слышал (десятки фамилий и дел, выученных в камере наизусть). Братья договариваются о зашифрованной переписке. Петр (майор академии Генштаба) добивается приема у Вышинского и назначения прокурора для проверки. Проверка оказывается липовой; а между тем первая жена Петра Григорьевича случайно прочитывает зашифрованное письмо и бежит доносить на своего мужа. Он успевает догнать ее в подъезде, вернуть и убедить в своей правоте. Второй раз идет в прокуратуру и требует назначения новой проверки. Его готовы арестовать, но неслыханное по тем временам бесстрашие, с которым майор спорит с армвоенюристом (четыре ромба), сбивает с толку. Прожженным политикам кажется, что за Григоренко кто-то стоит, кто-то большой и сильный... Григоренко уходит домой, не подозревая, какой опасности он подвергался. Через короткое время Ежова сменяет Берия. Злоупотребления, вылезшие наружу, решено было прекратить — и маленьким торжеством справедливости прикрыть большой Архипелаг. В Запорожье отправлен был новый ревизор, и несколько десятков невинных вышли на свободу.

Подобного рода маленькие события укрепляют веру, расшатанную большими событиями: что система в целом хороша, что виноваты отдельные люди, не сумевшие постоять за правду. Невольно вспоминается мнение Ключевского, что самодержавие — лучшая в мире власть, если не считать случайностей рождения... И мнение Карамзина, что России нужно только сорок хороших губернаторов... Но безумие нарастает, и пик абсурда — политика Сталина накануне войны. Вплоть до взрыва укреплений вдоль старой границы, которые Петр Григорьевич, в бытность свою военным инженером, несколько лет строил, вложив в это дело бездну труда, энергии и технического таланта. До сих пор неизвестно, по чьему приказу. Скорее всего — по личному приказу Сталина.

И вдруг, с 22 июня, все меняется. Внешним образом

становится еще хуже. Но источник зла перемещается на Запад, и страна сплачивается в сопротивлении злу:

Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой!..

Вместо принципиально невыполнимой цели, толкавшей к безумию, появилась трудная, но исторически разумная, выполнимая цель: победить в войне. Выдвигаются разумные люди, и почти из ничего они создают оборону перед противником и военную промышленность в тылу.

Война застала Григоренко на Дальнем Востоке, заместителем начальника оперативного отдела штаба Дальневосточного фронта, которым командовал генерал армии Опанасенко. Здесь, далеко от полей сражений, новый дух, принесенный войной, выступает во всей своей чистоте, как созидательный, разумный дух. Генерал Опанасенко (тип разумного самодура, превосходно описанный Григоренко) получает диктаторские полномочия. Он сдает в солдаты секретарей райкомов, не выполняющих его приказаний по строительству стратегических дорог, он организует переделку учебных винтовок в боевые, производство минометов — и возвращает в строй офицеров и солдат из дальневосточных лагерей; несмотря на сопротивление Никишева (начальника Дальстроя), удается вырвать часть призывных контингентов даже с Колымы. Формируются новые дивизии взамен брошенных на Запад, спасти Москву, и удается сохранить в полной силе барьер против возможного нападения с Востока. Теряют силы доносы, которые сыплются в Москву (на Опанасенко, на Григоренко, летавшего по поручению Опанасенко в Магадан). Логика кошмара, царство химер не исчезает вовсе, но отступает на второй план. Палачей и тупиц, выдвинутых Сталиным, несколько оттесняют люди военного времени. Сам Сталин перестраивается, входит в новую роль и приближает к себе генералов, которых не успел расстрелять. Григоренко, попав, наконец, на фронт, получает возможность действовать так, как ему подсказывают ум и совесть, — и за это его не отстраняют, не арестовывают. Наоборот, он даже получает благодарность от Мехлиса (одного из ближайших сотрудников самого Сталина).

Я был на войне, и я знаю, что таких командиров, как Григоренко, с таким выработанным самостоятельным стилем (не сталинским! скорее, антисталинским) — было немного. Но все же в первой попавшейся дивизии Петр Григорьевич находит офицеров, на которых можно опереться, и солдат, полюбивших его и готовых за него в огонь и воду.

Потом героический эпос снова превращается в сказку о бабе-Яге. И Григоренко, продолжавший службу в Академии им. Фрунзе, начинает свой мучительный одинокий путь — от борьбы с извращениями идеи к борьбе с самим порядком, выросшим из этой идеи. В пятьдесят четыре года он бросает все — не только свое положение генерала, начальника кафедры, ученого, работавшего в области военной кибернетики, автора восьми книг и нескольких десятков статей*, — но даже самые привычные мысли, сами аксиомы мировоззрения, и в новой для себя области как бы заново учится ходить (так, как в отрочестве после тифа). Петр Григорьевич пишет, что "прыжок к свободе" (открытое выступление с критикой Хрущева) был для него самым страшным, самым мучительным часом в жизни. В это можно поверить. Но Петр-воин не мог поступить иначе. Он медленно созревал для своего подвига, но созрев — не мог действовать иначе и не мог не действовать и жить в двоемыслии, как живут миллионы.

Дальнейший путь Петра Григорьевича слился с демократическим и правозащитным движением, в котором он занял одну из самых решительных позиций, — отчасти по своему характеру, отчасти по внутреннему убеждению, что подвиг, совершенный им, повторят другие; что гражданское мужество естественно, как мужество на войне, и вот-вот, сейчас, — если не сегодня, то завтра, — за ним пойдут тысячи, сотни тысяч, миллионы. Как шли за ним солдаты.

Эта уверенность, в иные эпохи, могла бы и заразить. Но мы живем в очень вялое время. И вот Петро Григоренко, украинец родом и русский генерал, входит в современ-

* О качестве этих работ можно судить по одной, адресованной широкой публике, — в связи с книгой Некрича. Это лучшее, что я читал о начале войны.

ную летопись как вождь крымских татар. Другие народы за ним не пошли.

Все равно! Лир и в степи король. А время, может быть, изменится, и дух, запечатленный в книге, еще дойдет до России; речи на банкете крымских татар и на похоронах Костерина не забудутся. Но на наших глазах дело кончилось мученичеством в ташкентской тюрьме и черняховской психушке (я не завидую посмертной славе Черняховского. Думал ли молодой талантливый командующий фронтом, убитый при артналете, в какой контекст попадет его имя?).

Петр Григорьевич вышел несломленным. Его жизнь настолько прекрасна, настолько значительна, что простой и бесхитростный рассказ о ней читается как выдающееся поэтическое произведение. Но есть в этом рассказе некоторые страницы, против которых мне хочется возразить. Совсем не многие страницы, но очень важные. Они касаются Сталина.

Разрыв Петра Григорьевича с советским идеологическим макетом начался в хрущевскую пору, после известного доклада на XX-ом съезде. И в сердце Григоренко остался след возмущения безграмотностью, с которой Хрущев делал все, что он делал: сажал кукурузу, руководил искусством и критиковал военные распоряжения Сталина. Генштабиста там многое могло покоробить. А Григоренко — человек справедливый. Даже после мучительного часа перед телевизором, когда заключенного вывели из одиночки, послушать, как Петя Якир признает его сумасшедшим, Петр Григорьевич считает своим долгом подчеркнуть большие заслуги Якира перед демократическим движением. Примерно так же он относится и к военным заслугам Сталина. Наконец, его возмутила концепция Авторханова, решившего, что реальным главнокомандующим в 1941-45 годах был Жуков. Григоренко знал Жукова еще на Халхин-Голе — и вынужден был доложить командующему фронтом Штерну о грубых стратегических ошибках командарма, будущего маршала (по докладу Григоренко эти ошибки были исправлены). Концепция Авторханова толкнула Петра Григорьевича на полемику; а в ходе полемики, кри-

тикуя жуковскую легенду, он возродил кое-что из легенды сталинской.

Чем был для наших вооруженных сил Сталин накануне войны и в начале войны — это именно Григоренко лучше всех показал. Но Сталин, по его словам, был хорошим учеником событий. И спасая свою шкуру, он быстро вошел в роль главнокомандующего. Поэтому наши победы — это сталинские победы, и они навечно останутся в истории военного искусства. Вот, в нескольких словах, его концепция.

3. Провокатор-генералиссимус

Я думаю, что Сталин — провокатор. Может быть, не по должности, но по характеру. Его служба в царской охранке документами не подтверждена*. Но служил или не служил Джугашвили в департаменте полиции, — дьяволу он служил верой и правдой. Другими словами, зло было для него не средством ради революции, социализма, России, а целью. Эту психологию описал Оруэлл в своем "1984". Его счастье, его радость — наступить сапогом на человеческое лицо и растоптать, раздавить, превратить человека в дерьмо.

Идеи нужны были как сырье для фабрики пропаганды, для вербовки сообщников. Какие именно идеи — все равно. Со временем идейная захваченность все больше заменялась материальной, и сталинская гвардия превратилась в обыкновенную мафию. Для меня всего этого достаточно. Мне расписки Джугашвили в получении 100 руб. не нужно. Я утверждаю, что у провокатора нет заслуг. Я сказал уже это в своей речи "Нравственный облик человеческой личности", и я готов свою оценку отстаивать. У Сталина не больше заслуг (перед международным рабочим движением? Перед русским империализмом?), чем у Азефа перед боевой организацией эсеровской партии или у Малиновского перед

* Есть только подозрения. Например, Степан Шаумян, погибший в 1918 году, считал Кобу (Сталина) провокатором, выдавшим его в 1908 году полиции.

большевистской фракцией Государственной Думы. Можно спорить, что было важнее в деятельности Петра Якира: его диссидентство или его измена диссидентству и зачеркнуло ли второе все предыдущее. Но провокатор, оставаясь провокатором, никогда не бывает тем, за кого он себя выдает. Он делает что-то, по своей роли, но это только роль, а не лицо, и роль злонамеренная. Все действия провокатора — часть его провокаторской службы. Всякая мнимая заслуга провокатора только увеличивает его влияние и расширяет возможности дальше творить зло (даже посмертно, как показывает судьба сталинского культа). Все заслуги как бы умножаются на минус единицу и становятся отрицательными величинами. Мне кажется, эту общую идею можно доказать и при анализе сталинской деятельности в качестве Верховного главнокомандующего.

Я не ставлю под вопрос искренность генерала Вечного, говорившего Петру Григорьевичу после XX-го съезда: "Я знал другого Сталина". Но я не думаю, что был один Сталин — садист, слуга дьявола, и другой Сталин — спаситель России. Никакого другого Сталина Вечный не знал, знал только личину Сталина и по простодушию принял ее за лицо.

У Сталина был целый набор личин. А что за ними? Не знаю. Мерещится Крошка Цахес, волшебным образом присваивающий себе чужие заслуги; Смердяков (лакей идеологии, попирающий идеологов); Тень ученого и Дракон, с ненасытной жадностью ради власти и власти ради зла*. Этот гад, рожденный от совокупления утопии с административным восторгом, никогда не делал ничего доброго, — только обманывал видимостью добра, чтобы завлечь, чтобы было на кого опереться.

Григоренко замечательно рассказывает, как Сталин, оскорбив и унизив Опанасенко, сумел потом внушить любовь к себе и готовность служить до гроба. Но к рассказу нужны комментарии. Сталин, решавший с Опанасенко все вопросы по прямому проводу, снимает командующего, ничего не объяснив, телеграфным приказом, и отзывает в Москву. Уполномоченный НКВД по Дальнему Востоку

* Из пьес Шварца.

Гоглидзе, начальник Дальстроя Никишев и другие, писавшие на Опанасенко доносы, получили полное удовлетворение: наступил их час. 1943 год. Выиграна битва при Курской дуге. Победа над Гитлером — только дело времени. И Сталин начинает обдумывать новые пакости, новые способы мучить целые народы — без войны. На этот раз готовятся национальные судороги: высылка калмыков, ингушей, крымских татар. Заодно — продолжение прежних, социальных судорог, с новым штрафным слоем: военнопленными, и с новой волной террора против попыток колхозников умереть с голоду (указы о расхищении социалистической собственности), с добиванием ветеранов Архипелага, имевших наглость выжить. Палачи — на авансцену! Палачам — честь и место!

Но война еще длится. А впереди, может быть, новые войны. Генералами нельзя бросаться. И вот Сталин вызывает к себе Опанасенко и доверительно объясняет, что чрезвычайное положение прошло, война на Дальнем Востоке не грозит, наместник с неограниченными полномочиями там больше не нужен, а Опанасенко пора бы включиться в ту войну, какая есть: не сидеть же ему до самой победы в Хабаровске! Пока — для начала — его назначают заместителем Рокоссовского (служившего раньше под его командой). А там видно будет... Пилюля позолочена, Опанасенко в восторге от сталинского доверия. Но никакого потом за этим не наступило. Самостоятельного командования Опанасенко не получил. До конца войны он остается заместителем, фамилия его не попадает в печать. Генерал, обнаруживший способности быть диктатором, не должен появляться на сцене. И не появляется. Но преданность его обеспечена.

Если у Сталина была особая одаренность, то в одном: он умел видеть в людях их мелкие страсти — и умел льстить самолюбию (часто накануне подножки: самолюбию Зиновьева, Бухарина...). Синявский описал, как Сталин охмурял инженеров человеческих душ. Случай с Багрицким, пожалуй, тоньше охмурения Опанасенко. Для каждого случая подбиралась своя личина. А если номер не проходил, то публика, недовольная представлением, шла в лагерь. Или прямо на тот свет.

Во всем остальном, кроме лукавства и интриг, Сталин был скорее туповат. Своих идей у него никогда не было, и он крал идеи у тех, с кем боролся. Почему же авторы идей терпели поражения, а он побеждал?

Это одна из загадок истории. Даниил Андреев писал, что сталинская энергия шла из глубин ада; что Сталин — медиум адских сил; какая-то высшая справедливость отдала всех умников, решивших переустроить мир, в жертву тупому демону. Этот миф — не ложь, а своеобразное описание истины, которую нельзя вытащить на поверхность и растолковать по правилам разума. Видимо, энергия зла, связанного с воплощением известного рода идей, так велика, что становится решающей силой, и деятель, открыто служащий злу, садист (как Сталин) или поклонник дьявола (как Гитлер), приобретает некоторую фору, некоторые преимущества перед соперниками, сохранившими пережитки буржуазной добропорядочности.

В романе Достоевского ложная идея — неопровержимая в своем теоретическом блеске — унижается пошлым воплощением. Сила дается пошлости (Смердякову). А потом пошлость познает себя и в невыносимой тоске сама же себя истребляет.

Дойдет ли жизнь до эпилога романа — не знаю. Но дух, бурливший в Сталине, — это какой-то пошлый дух. Мне кажется, что Петр Григорьевич не понимает этого по благородству, присущему его натуре. То, что он любил, ему невозможно совершенно выбросить из сердца. Черта, совершенно противоположная сталинской психике; но благодаря этой именно черте хочется сохранить признание каких-то достоинств Сталина.

Григоренко полюбил Сталина за твердую (будто бы) веру, что можно построить социализм в одной стране (так полюбила Сталина миллионы людей). Потом опыт отрезвил, и любовь рухнула. Но рудиментом веры в Сталина осталась убежденность в гениальности Сталина-полководца.

Во-первых, утверждает Григоренко, Сталин сумел заставить союзников служить своим интересам... Может быть, и так. В Сталине туповатость отлично уживалась с хитростью, и в дипломатии он мог кое-кого надуть. Но не надо смешивать дипломатических способностей с военным

гением. Мы ведь не считаем Александра I великим полководцем, хотя он и был хорошим дипломатом. Дипломат, даже очень талантливый, не поэтичен, не захватывает души Пушкина — и народной души. Я не говорю о даровании полководческого, какого-нибудь Жозефа Фуше (к которому Сталин был пожалуй ближе, чем к Наполеону). Нет культа Жозефа Фуше, нет культа Талейрана, есть только культ Наполеона. И моя задача — показать, что Сталин ни с какого бока не Наполеон, что он и в военном деле был великим ничтожеством. А вопрос о сталинской дипломатии я оставляю профессиональным историкам.

Я утверждаю, что никаких новых военных идей Сталин не выдвинул — так же как не выдвинул новых политических или философских идей. До самой большой войны гений позволял Ворошилову "крутить хвосты" и придал танковые батальоны стрелковым дивизиям. Только после финской кампании он спохватился, что в России бывают морозы, и ввел теплое обмундирование (одно из решающих условий нашего перехода в контрнаступление зимой 1941-1942 годов). Русский кумир задним умом крепок.

Период обучения вождя военному делу длился, по моему, не до декабря 1941 года (как полагает Петр Григорьевич), а до лета 1942 года включительно. На этот курс наук не хватило бы никакой страны, кроме России. И после 1942 года Сталин продолжал гробить людей на кубанском плацдарме и даже в самом конце, при взятии Берлина, — велел брать столицу в лоб (хотя Конев практически показал, что с юга в Берлин можно было войти с ничтожными потерями. Я этому живой свидетель).

Сталинский стиль военных операций (в конце концов выработанный) был имитацией. Сперва — Жукова. В действиях Жукова на Халхин-Голе вождя привлекло именно то, что оттолкнуло Григоренко: не щадить солдат и расстреливать офицеров. Совершенно естественно, что Штерн, помиловавший всех приговоренных по приказу Жукова к смерти, Сталину не понравился, был отозван и впоследствии расстрелян, а Жуков вознесен до начальника генерального штаба (должность, на которой он разделил со Сталиным ответственность за отказ воспользоваться данными военной разведки, предупредившей о наступательной груп-

пировке немецких войск). Видимо, в декабре 1941 года Жуков, назначенный командующим Московской зоной обороны, получил известную свободу рук, и Сталин чему-то у него доучивался. Это косвенно подтверждается опалой Жукова после конца войны: Сталин не любил людей, которым слишком обязан. Жуков никогда не подменял главнокомандующего, но стиль генерала-мясника, жуковский стиль, стал важным компонентом сталинского стиля. Однако важнейшим, определяющим было другое: копирование Гитлера. В 1942 году Сталин открыто призывал учиться у своих врагов... Сталинский военный стиль — сочетание жуковского с гитлеровским.

Что же собой представляет сталинско-жуковский стиль в целом? Некоторые простейшие приемы, перенятые у немцев, плюс старый способ, описанный еще Достоевским в "Дневнике писателя": фельдъегерь методически бьет кулаком в затылок ямщика, ошалелый ямщик хлещет лошадей — и тройка мчится...

Петр Григорьевич пишет, что сталинские стратегические решения будут изучать. По-моему, гораздо интереснее действия самого Григоренко. Я не видал в течение всей войны такого умения беречь каждого солдата и создать устойчивое ядро пехотинцев, обстрелянных в боях и способных к сложным и стремительным маневрам.

Читая о действиях дивизии Григоренко, я все время сознавал, что автор намного превосходит меня в своей области и я с трудом могу следить за ним, как за шахматистом, видящим на 5-10 ходов вперед, с несколькими вариантами ответа на каждый ход. Сталинские же военные решения никогда у меня такого чувства не вызывали. Иногда они были разумны (в рамках здравого смысла), а иногда ошибочны. Конечно, мой опыт (солдата и младшего офицера) недостаточен для суждения о полководце. Но меня вдохновляет пример Райсы Борисовны Лерт, очень хорошо разобравшей книгу штабного генерала, хотя в армии Р.Б. вовсе не служила.

Я думаю, что попытки продолжать зимнее наступление весной 1942 года были ошибкой. Крупные наступательные операции при абсолютном господстве противника в воздухе — нелепы. Уже в феврале, как только начались яс-

ные дни, наше наступление выдохлось. Я это испытал на собственной шкуре. Ночью с 22 на 23 февраля мы взяли деревню. При лунном свете, в белых маскировочных халатах, солдаты двигались, как призраки. Немцы стреляли из автоматов, не видя цели, авиацию и минометы нельзя было пустить в ход. Наш взвод потерял одного человека (неслыханно мало для наступательного боя). Зато утром... Нас выложили в оборону перед деревней, бестолково густо, и по этой массе людей долбали (с пикированием) 16 юнкерсов, потом они улетели — и били минометы, а потом минометы перегревались — и снова прилетали юнкерсы... Так повторялось несколько раз подряд. Когда меня ранило и я пошел на перевязку, снег был весь в розовых пятнах*. Батальонный медпункт в избе разбомбили, раненых завалило бревнами (потом в госпитале я встретил мальчика 16 лет — мы ведь шли в октябре защищать Москву без всякого отбора по возрасту, — его выкопали сравнительно целым, он лежал за печкой). Меня самого, в другой избе, вторично ранило и контузило. И в госпитале все раненые повторяли: не война, а одно убийство. Это в феврале, когда немецкая пехота, обутая в кожаные сапоги, грелась в избах и не решалась вылезти на снег. Но морозы кончились, немец обнаглел, — а в воздухе по-прежнему были только мессера, юнкерсы, хейнкели, фокке-вульфы...

Кто виноват в катастрофе под Керчью? Неужто один Мехлис, получивший за это прозвище Мехлис--Дюнкерченский! Мне рассказывали, что генерал Петров, командовавший фронтом, хотел перейти к глубокой обороне, а Мехлис настоял, чтобы сохранить наступательные боевые порядки (которые и были прорваны одним махом). Неужто такие ответственные решения обошлись без Сталина? Не был ли Мехлис простым рычагом Сталина? Не потому ли Сталин в конце войны вдруг снял Петрова, что не захотел видеть его на банкете победы? Не потому ли, что фигура Петрова напоминала ему собственную ошибку, а не ошибку Мехлиса?

Наконец, на юге Украины, уже после Керчи... Отказ Сталина перейти к стратегической обороне был авантюрой. Как бы он ни разговаривал (или вовсе не разговаривал) с

*Следы прямых попаданий.

Хрущевым, и как бы Хрущев об этом ни рассказывал на съезде.

Весной 1943 года наша дивизия вышла на речку Миус (к западу от Ростова) и заняла позиции, оставленные советскими войсками летом 1942 года. Всю оборону пришлось рыть заново. Ходы сообщения, запасные окопы, огневые, запасные огневые, ложные огневые... Наши предшественники за полгода выкопали только ниточку траншей по переднему краю. Почему Сталин, властью главнокомандующего, не заставил *тогда* зарыться в землю? Лопат не нашли? А потом приказ №227: "Сегодня, 28 июля 1942 года, войска Красной Армии оставили город Ростов, покрыв свои знамена позором..." Первую фразу 40 лет помню наизусть. По сердцу ударило. И дальше — основной смысл: по примеру предков наших, учиться у своих врагов. Ввести штрафные роты и батальоны. Ни шагу назад!

Ничего этот приказ не остановил! За месяц откатились до Волги. Остановила Волга (дальше некуда). Остановила "скрытая теплота патриотизма" (о которой вспоминал Виктор Некрасов). И, может быть, символическое название города — со всеми связанными с ним легендами (советский патриотизм совпал с русским патриотизмом) *.

Я считаю Сталина ответственным не только за катастрофы лета-осени 1941 года, но и за весенне-летние катастрофы 1942-го. Стратегия вождя выростала из его опыта мирного строительства: организации массового голода 1930-1933 годов и репрессий 1934-1939 годов. Привык, что людей можно заставить хоть на стену лезть. И вот, — рассудку вопреки, наперекор стихиям, — вперед, вашу мать! Непрерывный, надрывный мат по телефону... Это не чье-то личное хамство, как его понимал Григоренко*, — а система, такая же, как мат следователей, — методическое доведение людей до остервенения, до слепой злобы, в которой

*Приказ "Ни шагу назад" до самого конца войны давал огромные лишние потери. Например, если фронт застревал в болоте, солдаты месяцами жили по колена в воде; немцы же в подобных случаях отходили на 3-5 километров.

* Григоренко клал трубку, когда его по телефону материли, и приучил генерала к вежливости. Он хотел принимать решения спокойно, трезвым умом.

потерь уже не считают, и дорвавшись до немецких окопов, разбивают прикладами головы фрицам, поднявшим руки вверх (немцы наших в плен брали: расстреливали по выбору — известные категории; советские гуманисты иногда убивали всех подряд).

В июне-июле 1942 года этот испытанный метод дал осечку. Немцы прорвали фронт и вышли на оперативный простор — к Волге и к Кавказу.

Но Россия велика. Сами победы создали опасное для немцев положение — растянутый, с изломанными очертаниями фронт. Как только наступление остановилось, этот фронт оказался Ахиллесом, у которого пятка всюду. Одна пятка румынская, другая — итальянская, третья венгерская (венгры — неплохие солдаты, но зачем им Воронеж?). А между тем низкая облачность приковала немецкую авиацию к земле, и русские танки, раздавив румын (аккуратно поставленных немецкими штабистами к югу и к северу от Сталинграда для удобства окружения), соединились у Калача. Немцам пришлось драться в "котле", и они потеряли веру в свою непобедимость. Мы ее приобрели. Пропаганда раздула победу под Сталинградом до фантастической, подавляющей величины. На Миусе наша дивизия формировалась заново (мы вышли к этой речке в составе одной сводной стрелковой роты), но как-то удалось убедить солдат, что они гвардейцы-сталинградцы. Я сам убеждал и удивлялся, до чего легко верят.

После страшного урока двух летних кампаний Сталин дал теперь приказ зарыться в землю и, опираясь на отличную оборону, уступил Гитлеру первый ход на Курской дуге. Тут он Гитлера действительно переиграл: угадал ход мыслей противника и приготовил ему ловушку. Гитлер, оставаясь самим собой не мог не искать победы в наступательном бою; а где же наступать, если не под Курском? Если бы дьявол (на которого Гитлер рассчитывал) помог ему, окружение и разгром советских сил, сосредоточенных в центре дуги, дал бы максимум успеха... Но соотношение сил изменилось. Наши стрелковые дивизии научились использовать мощь своих огневых средств в обороне, наши танки получили хороший опыт зимой 1942-1943 годов, — и наша авиация, наконец, сравнилась с немецкой. Два года

мы воевали под чужим, враждебным небом. Теперь этого больше не было. Мощным контрударом удалось прорвать немецкие наступательные боевые порядки (то, чему немцы научили нас в 1942-ом. Опять задним умом крепки). Значит ли это, что Сталин — военный гений? Или просто оплошал Гитлер, действовал тривиально, так, как от него ожидали? Из двух полководцев, столкнувшихся на поле боя, один всегда выходит победителем.

Простой здравый смысл подсказал Сталину, что без хорошего генерального штаба войну выиграть нельзя, и он выдвинул на руководящие посты способных людей (так же как раньше, для других дел, были выдвинуты Ежов и Берия). Не все генштабисты, подготовленные Тухачевским, были расстреляны. Мудрый Сталин кое-кого (одного из десяти) оставил в живых*. А может быть, просто не повернулись под руку в минуту гнева. Вполне можно было расстрелять и Василевского. Классово чуждый элемент. Сын попа. Но почему-то уцелел и стал маршалом. В 1930 году Сталин вернул из ссылок троцкистов, на место бухаринцев, поехавших в ссылку. В 1941 году он вернул из лагерей Рокоссовского, Горбатова... А потом их победы стали сталинскими победами.

Гениальность Сталина — призрак, созданный при участии тех самых генералов, которые подсказывали ему свои решения. Но этот призрак воевал, и он победил другой, гитлеровский призрак.

Генералы (русские и немецкие) были искренне благодарны диктатору за тотальный режим, собравший все силы страны на службу войне. Тотальная экономика — это военная экономика. Тотальная политика — это военная политика. Гениальность Сталина была царь-пушкой системы, стрелявшей военными победами так же, как раньше — миллионами тонн чугуна и стали. На самом деле урон противнику приносили другие орудия, царь-пушка только хлопала, но психологически ее выстрел был решающим. В государстве, где Сталин снится детям в яслях, вдохновляет ху-

* Очень сходную гениальность обнаружил аятолла Хомейни. Он реабилитировал шахских офицеров и с их помощью разбил иракскую армию.

дожников и незримо танцует па-де-де вместе с Галиной Улановой, военные приказы, подписанные вождем, были непременным условием победы. Непогрешимость Сталина позволила сохранить веру в победу после любых поражений. Она вела нас вперед (так же как немцев — непогрешимость Гитлера). Гениальность Сталина стала краеугольным камнем мировоззрения генералов и офицеров, добившихся победы. Без гениальности Сталина рушится часть их веры в себя. После хрущевского доклада военные были потрясены — это Григоренко очень хорошо описал. Неприятно почувствовать себя подручными бандита. Надо было идти путем Петра Григорьевича — или возвращаться назад, реабилитировать Сталина.

К несчастью, в таком положении не только генералы. У миллионов ветеранов нет позади ничего настоящего, подлинного, кроме войны. Вперед, ... вашу мать! За Сталина, ... вашу мать! И поднимаются залегшие роты и идут вперед, летят на крыльях победы, над смертью, над страхом. А потом? Потом опять стена, и опять начальство велит лезть на стену и заниматься социалистическим соревнованием — кто быстрее влезет. И опять (как объяснял в 1941 году наш командир отделения, сержант Сорокин) надо делать вид, что непременно влезем, собирать лестницы, привязывать их друг к другу — и постепенно начальство привывает, что довольно одной видимости влезания на стену, и так, в этой пустой возне, проходит вся жизнь. Война была выходом из царства химер в историческую реальность, конец войны — возвращением в мир Кафки. И имя Сталина, и облик Сталина в мундире генералиссимуса связались в умах миллионов не со страшным миром, который он строил, а с коротким выходом из этого мира в национальный эпос. Этот мираж, овладевший массами, от моих однолеток до юнцов, надышавшихся смутным облаком отцовского патриотизма, — одна из величайших трагедий русской истории.

Что же было на самом деле? Было то, что политическая машина, заложенная Лениным и достроенная Сталиным, выдержала весь груз его ошибок. Политический строй, в котором малейшие сомнения в мудрости диктатора есть тягчайшее преступление, — несокрушимая крепость,

и Гитлер разбил себе об нее голову. Монархию, в которой можно было сплетничать о царице и Распутине, Гитлер бы, пожалуй, слопал, а сталинским кашеевым царством подавился. Я думаю, что Гитлер разбирался в военном деле лучше, чем необученный рядовой Сталин. Все-таки ефрейтор, четыре года вертелся посыльным около штаба полка. Но политически Сталин был гибче. Система, в которой он действовал, была жестче фашистской, но сам он был гибче. Система была устроена по логике Шигалева (начинаем со свободы и приходим к рабству). Фашисты и не начинали с золотых снов человечества, они прямо объявляли волю к власти. Фашизм циничнее, преимущество нашей системы — в лицемерии, в способности использовать и добрые порывы.

Дадим отпор душителям
Всех пламенных идей,
Насильникам, грабителям,
Мучителям людей...

Сталин прекрасно чувствовал логику системы и был величайшим лицемером. Часть его победы — это победа советского лицемерия над фашистским цинизмом. Но лично Сталин был циничнее Гитлера. И его победа — это (помимо всего прочего) победа тоталитарного хозяина второго поколения (100% циника) над тоталитарным вождем первого поколения (циником-идеалистом). Сталин использовал и американскую помощь, и русский патриотизм, и Коминтерн распустил, и погоны ввел. А Гитлер не сделал даже серьезной попытки превратить Власова в своего союзника. Он верил в расовую теорию, он воевал по правилам, которые сам себе установил, и по этим правилам высшая раса должна была покорить низшую. Гипноз идеи сближает Гитлера с другими соперниками Сталина, которых Сталин слопал. Сталин не был пленником идеи. Он проституировал любые идеи. В том числе гитлеровские. И он победил.

Великие вожди обычно сами не сознают, что за идеей, которой они одержимы, прячется нечто более элементарное (воля к власти, мстительность и проч.). Отсюда противоречия в деятельности великих людей. В Сталине таких про-

творечий не было. Его победа — это победа такой полной, такой пошлой бездуховности, что сравнительно с этим пошлый хам Гитлер, одержимый своим пошлым мифом о белокурой бестии, выглядит героем и мучеником идеи. Ну, пусть пошлая идея, но своя, кровная. У Сталина — никакой своей идеи. Только понимание, как играть лозунгами, сохраняя ударные слова и выворачивая наизнанку их суть.

Впрочем, конкурс гениальных вождей был так устроен, что ад ни при какой погоде не мог проиграть. Не Сталин, так Гитлер; не Гитлер, так Сталин. Единственная возможность гибели обоих — это временное торжество Гитлера и град американских атомных бомб. Гитлер — не Хирохито, от одной бомбы не капитулировал бы... Бог сохранил Европу от радиоактивных осадков. Победа дана была Сталину. Генералиссимус устлал дорогу к Берлину трупами русских солдат и спас Германию (а заодно и соседние с ней страны) от атомной отравы*.

Война — продолжение политики, и наша война не могла быть ничем иным, как продолжением сталинской поли-

* Впрочем, в случае безусловной победы англо-американской коалиции, зло — хлынувшее в мир после мировых войн — нашло бы новые пути. Об этом хорошо говорит философ-эсесовец (созданный воображением Хорхе Луиса Борхеса) перед казнью: "... Гитлер думал, что он борется за одну нацию, но он боролся за все, даже за те, которые он презирал и на которые напал. Неважно, что его Я не осознавало этого факта; это знали его кровь и его воля. Мир погибает от иудаизма и болезни иудаизма — веры Иисуса; мы научили его насилию и вере в меч. Этот меч нас убивает... Многие должны быть разрушены, чтобы создать Новый Порядок; теперь мы знаем, что и Германия была обречена. Мы отдали больше, чем наши жизни, мы принесли в жертву свое возлюбленное отечество. Пусть другие стонут и клянут. Я нахожу радость в том, что наша судьба завершила свой круг — и что она совершенна.

Наступает непреклонная эпоха. Мы ее создали, мы, ставшие ее жертвой. Что с того, если Англии досталась роль молота, а нам — наковальни, раз царствует насилие, а не христианская робость рабов. Если победа и торжество несправедливости и счастье не для Германии, пусть они достанутся другим нациям. Пусть существует небо, даже если наше место — в аду..."

тики. Нас нельзя было сломить, не сломив авторитета Сталина. Поэтому Гитлер — не сумев взять Москвы — рванулся к Сталинграду. Поэтому Сталину непременно надо было удержать Сталинград. Сталин бросает полумиллионную армию в бой к северу от Сталинграда, в голой степи, наступать при абсолютном господстве противника в воздухе, — чтобы хоть на несколько дней отвлечь часть сил немцев, дать возможность организовать защиту города. Несколько месяцев спустя Гитлер оставляет армии Паулюса погибать, цепляясь за развалины Сталинграда. Потому что Сталинград — город-знак, город-символ. Кутузов мог сдать Москву, чтобы сохранить армию. Авторитет царя это не подорвало. А Сталин и Гитлер вцепились в Сталинград мертвой хваткой...

Я не отрицаю политической необходимости нашего августовского неудачного наступления к северу от Сталинграда. Но с военной точки зрения оно все же было бездарным. Дивизии двинулись вперед густыми боевыми порядками, с неизбежностью огромных потерь. Это все равно, что заваливать ров трупами. Много лет спустя мне пришлось слышать рассказ одной пожилой женщины, служившей во время войны во фронтовой газете. Самым ее сильным переживанием была передислокация редакции (видимо, в начале 1943 года) по дороге, ямы которой были заложены замерзшими трупами итальянцев. Рассказ не печатали — факт (несмотря на его патриотическую интерпретацию) сочли неприличным. Но мы воевали еще более неприлично. Наша дивизия продвинулась на 3 километра, буквально завалив свой участок (два на три километра) трупами. Другие дивизии продвинулись меньше или вовсе не продвинулись. Каждый квадратный километр был там завален трупами еще гуще. Над полем висел густой смрад. Я хромал после ранения, больше трех километров не мог пройти, и был прикомандирован к редакции, ходил ночами из балки Широкой (КП дивизии) в балку Тонкую (КП полков), за материалом (усталые политработники мне с трудом что-то выдавливали). А в темноте я несколько раз натыкался — то рука торчит недохороненная, то нога. Сваливали в ближайшие ровики и чуть-чуть присыпали. Хоронить как следует некогда было — и некому.

Задним числом мне кажется, что разумнее было бы атаковать ночью (когда авиация бездействует), захватывать отдельные участки вражеских окопов и провоцировать немцев на контратаки, под огонь нашей артиллерии (которой было очень много). Так мы могли бы долго давить на фланг Паулюса. Но приказано было просто: всем фронтом — вперед! Немецкому превосходству в воздухе не было противопоставлено никакой мысли — только груды пушечного мяса! И потом, с начала сентября, когда наступать было нечем — еще недели две или три подымались в атаки обескровленные сводные роты (из тотально мобилизованных обозников, кашеваров и проч.). Паулюс превосходно знал (через перебежчиков хотя бы), что нам давить нечем. Что же мы демонстрировали? Только преданность Сталину. И во имя этой преданности дивизии были истрепаны так, что в ноябре, для действительного наступления (на румынском участке) пришлось некоторые расформировывать (наша 258-я была сохранена, пополнена за счет 207-ой и впоследствии получила гвардейское звание. Следовательно, она воевала лучше других. Между тем, талантливых маневров, наподобие тех, о которых пишет Петр Григорьевич Григоренко, я за два года — с 1942 по 1944 — не видел ни одного. Очень квалифицированно воевали артиллеристы. А пехота в военной машине была чем-то вроде колхозов).

Действуя в Карпатах, П.Г. Григоренко по сути вел войну на два фронта. Одну — горячую — с противником, и другую — холодную — по телефону с начальством. Петр Григорьевич выполнял только те приказы генерал-лейтенанта Гастиловича, которые считал разумными, а нелепые — саботировал. Рискуя головой, обманывал, не делал ничего или делал так, чтобы продемонстрировать исполнение с минимумом потерь, а потом решал боевую задачу по-своему. Но, во-первых, он был генштабистом (люди с его образованием командовали армиями и фронтами), а во-вторых, он родился диссидентом (хотя и не сразу это понял). То, что казалось ему борьбой с генерал-лейтенантом Гастиловичем, было по сути борьбой со сталинским стилем: потерь не считать — и вперед, хоть на стену лезь!

Петр Григорьевич хвалит Сталина за то, что тот разре-

шил не секретить Боевой Устав пехоты. Так ведь вождю не-зачем было перестраховываться! И приказ № 227 он мог писать, не боясь, что за резкие выражения привлекут по статье 58-10, часть вторая. Над ним Сталина (и Берии) не было. В обществе, где все перестраховываются, тот, кто по своему положению может не перестраховываться, — гений. У него есть возможность свободно мыслить, шагать через стереотипы, менять стереотипы. В царстве слепых он зрячий. Но в обществе свободных он кривой.

Когда соотношение сил изменилось в нашу пользу, когда генеральный штаб интеллектуально овладел положением и стал предлагать эффективные боевые планы, к Сталину повалила козырная карта, и он начал бить своими козырными шестерками гитлеровских асов* (потерявших козырное достоинство). До середины войны козырная карта шла Гитлеру, и гением был Гитлер. Потом козыри пошли Сталину, и стало казаться, что он еще гениальнее. Хотя невозможно считать заслугой Сталина, что Россия велика, что русский народ привык к сильной власти, что Ленин эту сильную власть обновил и усовершенствовал, что у Америки огромный производственный потенциал, который страны антикоминтерновского пакта обрушили себе на голову, что японцы поперли на юг, а не на запад, что Ежов не успел посадить Василевского или Баграмяна (уже исключенного из партии за мнимую дашнакскую деятельность), что Рокоссовский не загнулся в лагере...

Слава — шкура барабанная. Сможешь — колоти в нее. А история решит, кто дегенеративнее, — писал Николай Глазков (исключенный за это из Литературного института).

Я вижу в сталинских методах войны что-то очень сходное с методами сталинских хлебозаготовок. Лишь бы сегодня взять все сто процентов. И во имя этого разрушались работоспособные колхозы. И во имя этого стрелковые батальоны превратились в проходной двор для маршевых рот — в наркомздрав или в наркомзем. Потери стрелковых рот в наступлении ничем не отличались от потерь

* Ас — букв. туз — жаргонное наименование первоклассных летчиков.

штрафных рот. Так же как жизнь колхозников мало отличалась от жизни з/к.

Побеждать, уложив вчетверо больше, чем Гитлер, — на это надо не слишком много гения. Но победа есть победа. В пустой, выпотрошенной Сталиным сегодняшней жизни его собственное время осталось в памяти как время энергии, порядка — и победы. Любовь к Сталину растет, как снежный ком. Идет возвращение к сталинскому культу, гораздо более массовое, чем возвращение к православии.

Сталин победил. Это факт. Но что дала нам его победа? Устойчивое гниение, прикрытое имперской спесью. Победенные, которых мы освободили от фашизма, живут с каждым годом все лучше (хотя земли у них стало меньше). А мы — с каждым годом все хуже. Это тоже факт. И не потому мы хуже живем, что отошли от Сталина, от его порядков, а потому что в самом главном никак не можем от него отойти и продолжаем то же самое, но вяло, без веры и без энергии, которые Сталин истощил до последней капли.

Я не думаю, что войну в целом можно и нужно дегероизировать. Что было, то было. Была мертвая хватка двух одержимых дьяволом, Сталина и Гитлера, двух вампиров, упившихся народной кровью. Были шахматные партии полководцев, передвигавших фигуры на своей штабной карте. И был Тимофей Иванович с его винтовочкой. Я называю имя ординарца Петра Григорьевича, без промаха подбивавшего наступающих венгров, — в плечо, в ногу, никогда не в голову, не в грудь (он не хотел плодить вдов и сирот). Тимофея Ивановича не хочется дегероизировать. Да и самого Петра Григорьевича, заставившего всю свою дивизию надеть каски, чтобы меньше было смертельных ран... Но труд Ивана Денисовича не оправдание Архипелага, и ратный труд Тимофея Ивановича — не оправдание Сталина-полководца. Суворов воспитывал своих чудо-богатырей. Сталин получил готовыми Иванов Денисовичей и Тимофеев Ивановичей — и расточил это богатство. Герои не плодятся в неволе. Где теперь Ивановы Денисовичи, где Тимофеи Ивановичи? Только на кладбище.

Война Гитлера со Сталиным — базотрадный эпос.

Один вампир погиб, чтобы укрепить власть второго. Но в апреле 1945 года, в Берлине, память неудержимо выталкивала "Торжество победителей" Шиллера, то в одном переводе, то в другом, — и сердце откликалось на каждый стих. В конце концов, я достал Шиллера на немецком и несколько раз перечитывал — все так перекликалось с тем, что я видел! И толпы троянок, оплакивавших свое царство, и пророчество Кассандры...

Все великое земное
Разлетается как дым.
Ныне жребий выпал Трое,
Завтра выпадет другим.
Смертный, воле, нас гнетущей,
Покоряйся и терпи.
Спящий в гробе мирно спи.
Жизни радуйся, живущий.

Огромное напряжение всей страны, закончившееся победой, не перечеркнешь. Что было, то было. Но этот властитель, нечаянно пригретый славой... Его культ надо разобрать по косточкам. Пока еще есть время. Пока тень Сталина не потянула за собой новый хоровод бесов. Пока дух Сталина не соединился еще с духом Гитлера — духи это могут — и на земле не воплотилась новая, сталинско-гитлеровская химера.

4. Провокатор-пророк

Есть еще одна химера, в перспективе будущего, может быть, самая чудовищная. Это провокатор-пророк. Тот случай, который я знаю, сравнительно мелок и мало известен. Но замечательна сама возможность такого типа, и поэтому Феликс Карелин — довольно мелкий бес, едва-едва влезший на котурны, — достоин исследования. Важен не он сам по себе, а то, что в нем воплотилось (может быть, только на пробу, в ожидании других, более крупных воплощений).

История Феликса настолько плотно укутана в облако легенд, что я не буду допытываться, что в них правда, а что

— ложь. Легенда сама по себе правда, сама по себе свидетельство о духе времени. Поэтому назову героя своей притчи просто Икс (не Феликс, а герой легенды о Феликсе. Не прототип, а тип, мой собственный художественный вымысел).

Не знаю, когда его завербовали. Кажется, в конце войны (Икс был солдатом, а вероятность полевой вербовки довольно высока: в каждом взводе положен информатор). Но, может быть, он прельстился на положенные сребреники до войны, в детдоме*, или после войны, в Ленинградском гарнизоне. Икс кончал свою службу в Ленинграде и понемногу стал постукивать по квартирам интеллигентов, пригревавших бедного солдатика**. Как он это оправдывал? Идеей? Но по идее надо бы бесплатно, а Иксу платили. Идея прикрывала это плохо. И зада не прикрывала. Помогало желание выслужиться, доказать преданность (биография Икса была не совсем безупречной). Стук, помимо мелочи на карманные расходы, давал надежду на карьеру... И еще помогала зависть к благополучным (по сравнению с казарменным житьем), устроенным (опять-таки относительно) интеллигентам. Икс был гол, как сокол. Отслужив срок, он располагал единственной парой штанов и дырявыми ботинками. Другие студенты были так же скверно одеты; но их это не мучило, не язвило, а Икса очень язвило. Он был неограниченно тщеславен. Тайное (и призрачное) могущество стукача давало ему, видимо, какое-то странное удовлетворение.

В эти годы многие стучали: из подражания Павлику Морозову, со страху. Но совесть мучила, и методический стук выходит не всегда. Некоторые вовсе не могли стукнуть, до боли от невыполнения своего пионерского, комсомольского или партийного долга. При всей вывернутости наизнанку такого чувства (Павлик Морозов поступил хорошо, мне надо быть такой же, но я слаба, я не могу) —

* Согласно одной из легенд, в этом доме для детей врагов народа стоял памятник Павлику Морозову.

** Есть другая легенда, что Икс был офицером контрразведки. Но мне не верится.

это признак целомудренной души. Таких завербовать было вовсе невозможно. Из других, давших подписку, при каждом вызове буквально выдавливали показания (с таким несчастным я сидел в камере). Некоторые стучали лихо, самоабвенно, по-хлестаковски, — а потом спивались (моему соседу по нарам чудилось, в белой горячке, что воробушки прыгают и чирикают: шпик! шпик! шпик!). Долгая и безнаказанная работа платного информатора возможна только при некоторых особых чертах характера: нравственном идиотизме, извращенности, гипертрофированной способности к самооправданию и т.п. Что именно поддерживало Икса — не знаю. Скорее, последнее. Во всяком случае, совесть его не беспокоила. Он работал долго, успешно и небескорыстно. Из этой инерции, задолго до XX-го съезда, его вырвал один необыкновенный случай.

В 1948 году органы безопасности заинтересовались Толей Бахтыревым, по кличке Кузьма. Иксу поручили познакомиться. Это было нетрудно. Кузьма рано осиротел, двери его комнаты были широко раскрыты. Туда ходило несколько десятков первокурсников и школьников старших классов...

Я впервые услышал о Кузьме от его поделника (а моего лагерного друга), довольно скептического юноши. К мальчикам и девочкам, входившим в кружок, он относился с усмешкой. Очень любил главу "Русские мальчики" из "Братьев Карамазовых" и цитировал реплики Коли Красоткина наизусть — с иронией к мальчишескому философствованию своих друзей и самого себя. Но когда вспоминал Кузьму, тон совершенно менялся. Кузьма был для него высшим существом.

В 1948 году Кузьма бросил работу, на которой чем-то обидели, лежал на койке и думал. Устраиваться сперва медлил (все равно в армию), а потом и не мог. После первых донесений Икса его вызвали, пытались завербовать, паспорт не вернули. Так без паспорта и жил до ареста. Вечером приходили товарищи, приносили поесть, и начинались разговоры...

К 1948 году эти разговоры дошли до Бога и бессмертия души. Впоследствии Илья Шмайн упрекал Кузьму: "Ты не захотел быть Христом" (а захотел бы — и Илья бы пове-

рил, пошел...). Один этот упрек стоит целой повести. Кузьма действительно не хотел быть Христом, ни пророком, но у него был религиозный дар. Может быть, дар тоски по вечности? Много позже, после лагеря, он писал: "Бога нет, но есть деревья, и представить себе это невозможно...". Своим "представить это невозможно" он, кажется, и тревожил ум.

В одну из ночей, прозванных кем-то творческими (кажется, это скрытая цитата из Пушкина), — Икс вдруг, во внезапном порыве искренности, признался, что стучит и уже настучал на всех. Так вдруг пронзало и осеняло Лебедева или Келлера, а потом они продолжали свои пакости...

На Западе стукач — это стукач, и если он имеет отношение к святости, то только по долгу службы: через донос. Но русский человек широк, он делает пакости и молится за упокой души графини Дюбарри, исповедуется Мышкину или — как Икс — становится пророком православного Ренессанса. Потому что на Западе формы определились, а в России они шатки и непрочны. Отсюда тот страх Антихриста, о котором писали Н.А. Бердяев и Д. Андреев. Католики боялись дьявола, — размышлял Бердяев, — но нигде не было такого страха Антихриста, как в России. Даниил Андреев объяснял это впечатлением от крутых переходов Ивана Грозного (то православный царь, то зверь; то зверь, то православный царь). При близости царя и Бога в народном сознании невольно в глазах зарябит: то Христос, то Антихрист, от этого и безумный страх подмены святыни, до самосожжений в срубах, и безумная вера Блока:

В белом венчике из роз
Впереди Иисус Христос...

Тут главное — в крутизне переходов. Луи XI не бросился в истерике от пыток к покаянию, не носил монашеских одежд, не превращал двора в монастырь. Он был рационально жесток. Ему в голову не пришло бы пойти походом на Орлеан (даже не фрондировавший) и топить обывателей в реке. Иван Грозный — явление неповторимо русское, первый русский Антихрист. Были потом и другие... Икс еще одно мелкое звено в антихристовой цепи. Мелкое, но опять неповторимое. Бывает, что прохвост становится

провокатором; но чтобы прохвост и провокатор стал пророком? Говорят, что слава Икса уже развеялась. Но лет двадцать ему почти что молились.

Вопрос о том, как отличать истинных пророков от ложных, с древности не находил точного решения. Об этом была интересная статья прот. А. Князева в "Христианском вестнике" № 198, и мне хочется добавить к ней только несколько слов. По-моему, дело не в точности прорицаний. Книга пророка Ионы была написана едва ли не для того, чтобы сказать: в прорицаниях своих пророки могут ошибаться. Напротив, гадалки успешно предсказывают будущее (но пророчицами они от этого не становятся). Пророком делает святой гнев, сердце, разгоревшееся на мерзость народа. Обещание будущих несчастий — средство увлечь к покаянию, не более того. Ошибки здесь не опасны. Опасно другое: гнев. Святой гнев — это черная белизна, горячий холод, неустойчивое сочетание святости со смертным грехом. Пророк, даже великий, может выродиться в лжепророка, если гнев ослепил его, довел до злости и мстительности (как это иногда случается даже с великим пророком, создателем ислама). В величайших пророках гнев вспыхивает ненадолго и скоро гаснет, уступая место любви. Гневное ослепление — знак несвятости, способности к падению. Но где мера, за которой начинается это падение? Ее нет.

Где пророки, там всегда и лжепророки. В Африке не очень давно (лет десять или пятнадцать тому назад) был съезд пророков. Съехалось человек тридцать мужчин и несколько женщин. Кто из них действительно пророк, не знаю, но общее число пророков (и лжепророков) измеряет духовное развитие Африки совершенно точно, так же, как производство энергии на душу населения — ее экономическое развитие.

В истории высоких религий пророки постепенно исчезают. Их заменяют святые. Это не только перемена термина. Меняется и суть. Святые безгневны, их горение духовное — более чистое (пламя без дыма, как говорят в Индии). Отдельные святые могут грешить гневом (а отдельные пророки приближаются к новозаветной святости: Исая, например). Но характеристика верна для группы,

для религиозного типа. Пророки продолжают в низах общества, в сектах, до которых история как бы еще не дошла. Или секуляризуются, становятся "харизматическими лидерами" (Макс Вебер), "пассионариями" (Л.Н. Гумилев), — т.е. Кромвелем и Наполеоном, Лениным и Троцким.

Харизматические лидеры нужны, когда история петляет и кружит, когда средний человек сбит с толку, потерял ориентиры и может только выбрать вождя, довериться вождю, который знает, как надо. К сожалению, современные вожди, по большей части, ведут нас из огня да в полымя. Единственное исключение — Ганди. Но ничего другого я среднему человеку, сбитому с толку, не могу предложить, и настаиваю только на праве критиковать вождя. В том числе Солженицына.

Однако вечность — по ту сторону исторических судорог. Время петляет, кружит, делает зигзаги (историческое время вовсе не сводится к движению по прямой). А вечность всегда в одном месте: в центре круга, в центре спирали. И поворот к вечности давно известен. Великие религиозные традиции могут обмениваться опытом, учиться друг у друга, как идти в свою собственную глубину, но каждая из религий эту глубину знает. Ни православие, ни какая-либо другая великая религиозная традиция пророков не требует, и по-моему даже не допускает. Пророки — это у пятидесятников. А право — славный пророк — сапоги всмятку, мыльный пузырь, раздутый легковерием верующих, отчаявшихся в своей гнилой продавшейся иерархии. На этой почве вырос и пророческий авторитет Икса. Я убежденно оцениваю его как лжепророка, безо всяких внутренних колебаний, но тут же оговариваюсь, что иногда он бывал как бы и пророком в самом деле и в эти мгновения мог совершать сам и побуждать других как бы и на великое. Более того, я убежден, что некоторые из учеников лжепророка могли быть крещены им в истинную веру и вступить на праведный путь; и не отходить от добра поминутно, как их вождь, а утвердиться в меру личной благодати. Такие случаи, кажется, были.

Возвращаясь к 1948 году, я думаю, что порыв, заставивший Икса признаться, не был игрой. Но была и "двой-

ная мысль”, т.е. все же и игра, отчаянная, рискованная игра. Икса поразила и соблазнила атмосфера восторженного обожания, готовности слепо идти за пророком, — то, что Толя Бахтырев решительно не принимал и впоследствии, в письме к другу, назвал ”фашистским культом”. Мелькнула — как журавль в небе — возможность карьеры, способной удовлетворить самое фантастическое, самое необузданное тщеславие. Ради этого журавля Икс выпустил из рук советскую синицу и рванулся в небо.

Первым следствием был арест (за разглашение служебной тайны) и лагерь. Арест, может быть, спас предателя. Когда Толя сидел, а он еще гулял на воле, двое мальчиков собирались убить его. Но в лагере слава стукача еще больше грозила смертью.

Далее легенда раздваивается. Согласно одной версии, Икс сперва обратился к Христу, а потом зарезал человека. Согласно другой версии, он сперва зарезал человека, а потом обратился к Христу. Я выбираю второй вариант, хотя вовсе не ручаюсь, что именно так и было на самом деле. Так, по-моему, художественно достовернее. Спасаясь от ножа, защищая свою зэковскую честность, Икс согласился убить и убил заведомого стукача, осужденного лагерной мафией. Может быть, менее виновного, или вовсе невинного... Потом его охватило раскаяние, и в какой-то миг он что-то увидел...

По словам Кузьмы, Икс ”первым реализовал религиозные бредни 1948 года” (см. посмертно собранную книжку Анатолия Бахтырева, опубликованную за рубежом под названием ”Эпоха позднего реабилитанса”; Иксу там дана условная фамилия Гарелин).

Некоторые друзья Толи (Кузьмы) говорили мне, что никаких видений у Икса быть не могло, что он просто выдумывает и артистически входит в роль. Мне кажется, что артистизм вранья и способность к видениям друг друга не исключают. Артистизм мог несколько варьировать рассказы о видениях, но видения сами по себе могли быть. Видения у подлеца вполне возможны. Истерический порыв, заставивший обличать себя как стукача, нельзя отрицать. Отчего же отрицать следующие порывы? А если признать истерию, в сочетании с себе на уме, то перед нами обрисовыва-

ется тип современного шамана. Говорят, что многие шаманы страдают наследственной истерией. Среди них есть и вруны, и корыстолюбцы, но видения их посещают. И африканских колдунов, вдохновленных поеданием человеческой печени, тоже посещают видения.

Низость Икса сказала не в самих видениях (подсказанных христианской культурой; а какой же интеллигент, читавший Толстого и Достоевского, не тронут ею?). Низким был вывод Икса: огромное чувство своей избранности, своего призвания. Убийство было прощено себе мгновенно (так же, как раньше стукачество). Икс уверовал, что Христос принял на себя все его грехи и наделил пророческим даром. Раньше для самооправдания шли в ход идейные аргументы, теперь пошли мистические, но низость осталась низостью. Подмененный Христос оправдал все грехи — прошедшие, настоящие и будущие. Путь к преображению был оборван с первого же шага; лукавая душа вывернулась, усыпила видениями чувство ужаса от себя самой, избежала назначенного ей страдания. У Галича даже черт знает, что за грехи придется платить (потом, правда, но все-таки придется); а Христос Икса все на себя взял и все списал.

Выйдя на волю, новый пророк с энтузиазмом проповедует своего подмененного Христа. Пуще всего ему хотелось увлечь подельников. Перед одним из них, встретив его на улице, он бросился на колени: "Не встану, пока не простишь!". — "Пошел ты к е... матери", — ответил тот. Икс постоял, постоял на коленях на тротуаре — и встал непрощенный. Вернуться победителем в Мекку не удалось. Зато перед лжепророком широко раскрылись другие сердца. Проповедь Икса нашла восторженный отклик среди молодежи, о которой я писал в эссе "Три клинических случая" (прямо от соски — к бутылке). В этом Ясрибе* даже пороки Икса шли ему на пользу. Например, склонность приволакиваться за первой встречной юбкой. Пастве, тронутой сексуальной революцией, такое поведение пророка решительно нравилось.

* Ясриб — город, в который Мохаммед бежал, оставив Мекку. Впоследствии — Медина.

Шаманский дар Икса вызвал массовый энтузиазм. Толпе хотелось именно такого Христа, с которым все позволено — и все свято. Гармонии между попом и приходом не смогло нарушить даже несостоявшееся светопреставление (хотя этот анекдот попал в газету). Дело было так. После нескольких бессонных ночей Икс увидел, что шестая печать будет снята летом 1968 года. Спасти можно будет только на Афоне. Очнувшись, Икс тут же подменил греческий Афон Новым Афоном (в Грецию визы не дали бы). Верные уговаривали скептиков: бросайте все, спасайтесь! Сам пророк оформил себе на время светопреставления очередной отпуск; другим же пришлось туго. Все же несколько человек уехало. Купались, пили сухое вино и ждали конца света... Потом Икс, со своей безграничной способностью самооправдания, вспомнил пророка Иону. Оказывается, Бог пожалел Москву.

То, что меня поражает, это не способность пророка ошибаться (по-моему, все люди могут ошибаться. Ап. Павел и другие апостолы ошибались, ожидая скорого пришествия Христа; но вера их была истинная). Поражает легкость, с которой Икс поверил, будто ему ведомы времена и сроки, и такая же легкость, с которой он простил себе ошибку, сохранив полностью веру в себя. Видимо, этой верой он и заражал и захватывал.

Кое-кто тогда отошел. Но вместо одного отошедшего набежал десяток неопитов. Слишком многим хочется найти в другом (а не открыть в себе) силу веры и знание правды. Разумные люди в наш век не знают, что будет завтра, время переломное, что-то кончилось, а что начнется — не поймешь. И вот безумцы и наглецы становятся вождями. И целые народы бросаются за наглой самоуверенностью: за Гитлером, за Хомейни...

Скандал с шестой печатью ничуть не уменьшил славы Икса. Он обличает неправославие, бичует ереси...

Постепенно Лжепророк становится все респектабельнее, все церковнее. Начав с обличения Московской патриархии, он теперь обличает церковных диссидентов (его же духовных детей). Перестав быть провокатором по должности, Икс остался провокатором по характеру. Он сочиняет тексты — подписывают другие. Он не дает порочащих пока-

заний, но предлагает вызвать других (а они уже говорят то, что нужно).

Когда вернулся Толя Бахтырев, отсидев шесть лет из десяти и реабилитированный за отсутствием состава преступления, Икс пытался вернуться в старый круг, но никто не захотел подать ему руки. Даже снисходительный Толя задумчиво сказал: "Не то беда, что он предал, а то беда, что он пошляк...".

Теперь этот пошляк, с которым Кузьма не захотел больше знаться, стал исторической личностью.

5. Пошлость

Пошлость — решающее слово нашего времени. Имя Иксам — Легион. Имя Иксам — тап (безличный субъект неопределенно-личного предложения и экзистенциальная категория у Хайдеггера). Есть пошлость либеральная, пошлость марксистская, пошлость христианская (недавно я прочитал, что об этом уже думал — и писал — В.В. Розанов).

Пошлость — слово русское, не вполне переводимое, европейской наукой не отшлифованное. Объяснить его трудно. Где-то по соседству с пошлостью низость, но низость — непременно минус, а пошлость — скорее нуль. Точнее: нуль личности. Потеря родовых образцов (с которыми можно и не быть личностью: достаточно твердости в обычае) и попытка нуля функционировать как положительная или хоть отрицательная величина. Отсюда — неуверенность и наглость (смирение Опискина, храбрость Грушницкого). Отсюда влечение к эффектной позе и культ героя сиюминутной прозы, власть пустого времени, моды. Пошлость тянется к позе бытия — и тотчас облепляет его, опошляет, (даже если это бытие — не только поза: пошлое обожание знаменитостей, пошлая образованность, пошлая церковность). Пошлость приходит в восторг и исступление, когда находит саму себя, одаренную харизмой (наверное, дьявольской). Я помню речь Гитлера (слышал по радио в 1940 году; заклятых друзей не глушили). Какие ничтожные аргументы! Какие дешевые приемы! Сгореть бы от стыда, если хоть раз пробьется такая интонация! Но как

подвывала этому шуту восторженная толпа, бывший народ Гете, Шиллера, Канта...

”Рабство готово улечься на брюхо перед мертвым диктатором, как лежало перед живым, — писал Б. Хазанов. — Рабству хочется уверить всех, что сапоги, которые оно лизало, были все-таки сапоги гиганта. Мы часто, слишком часто слышали утверждение, что Гитлер и Джугашвили, ”как бы они ни были плохи”, — великие люди; иначе-де они не смогли бы вознестись до таких высот. Простой анализ механизмов выдвижения подобных личностей показывает, что, напротив, нравственное и духовное убожество как раз и было необходимым условием выдвижения. В этом-то и состояло величайшее унижение нашего времени, что на ролях всесветных вершителей... в нашем веке подвизались ничтожества” (из ”Писем без штемпеля”).

Душа, не чувствующая пошлости пошлости, создает темное облако, в котором выстраивается сказочный дворец диктатуры (Сталина, Гитлера, Хомейни). Пошлость может сохранить свободные учреждения только по инерции. Ей нужен вождь, дуче, фюрер. Ей нужен Великий Инквизитор, а не Христос. И если вся наша цивилизация обрушится, то в яму пошлости (строим большую вавилонскую яму, — говорил мой приятель). Яма растет со всех сторон, на всех континентах. Запад сохранил еще привилегию личности таять на пропасть; у нас и это не дозволено. Мы обязаны сползать по наклонной плоскости, сохраняя бодрую советскую улыбку. Отказ повторить пошлость — государственное преступление. Что же означает у нас раскаяние государственного преступника? Акафист пошлости.

6. Волна и пена

Там, где развитие было стремительным, как в России и других незападных странах, разрыв между требованиями, предъявляемыми личности, и ее действительной силой был особенно велик. Там разрушение предписанных образцов имело катастрофические последствия, дало катастрофический рост пошлости (и ее брата — хамства). Иногда эти цифры, если бы удалось их сосчитать, могли бы приблизиться к

квадрату скорости развития. Разумеется, это — интуитивная оценка.

И все же ни одна волна истории не сводится к пошлости и хамству. Полные тщеславия, торопясь себя показать, даже с риском свернуть себе шею, наглые пошляки забегают вперед и захватывают место героев дня. Но часто ненадолго. Так нигилисты шестидесятых годов и нечаевцы опередили жертвенное поколение семидесятников. Так Якир и Красин выскочили впереди А.Д. Сахарова. Так выскочили вперед и покрасовались православные шуты. Гнойник в православном лагере оказался сегодня побольше, чем в либеральном — потому что либеральное движение сегодня не в моде, и пошлость, льнущая к моде, отхлынула от него. Людей колеблющихся, слабых, тщеславных, с неудержимым зудом писать, в либеральном движении меньше. Остались люди потверже, посамостоятельнее, показательного выступления по телевизору от них добиться трудно.

А где мода, там и пошлость. Это не черта православия и не черта либерализма; это черта моды.

Волны западничества и почвенничества сменяют друг друга в России, как утро и вечер. И каждая волна несет пену. Но в каждой волне не только пена. Западничество право, указывая на потерю лица в диалоге с прошлым. Почвенничество право, указывая на потерю лица в диалоге с современностью. Личность формируется в смене исторических испытаний, в смене одной ответственности другой, — еще более тяжелой. А безличность шумно пузырится на поверхности. Я не сомневаюсь, что шумовка, снявшая пену, не снимет самой волны. Но станет ли волна чище? Или она снова вышвырнет вперед новую шапку пены? Хочется первого. Вероятнее — второе.

В разных углах как бы идут одновременно два процесса. В одном углу предательство — смертнейший грех. А в другом человек предал, съел слоеный пирожок и утешился. В одном углу складывается одиннадцатая заповедь: не предай! А в другом шевелятся разнообразные попытки оправдать Иуду. Тем, что без воли Всевышнего и волос не упадет с головы. Или тем, что Иисус Христос принял на себя все наши грехи. Или еще что-нибудь.

7. Между пошлостью и хамством

Я обмолвился, что пошлость — сестра хамства. И сразу вопрос: почему? Потому что происходят они от одних и тех же родителей, — от одних и тех же обстоятельств. Начало пошлости и начало хамства — потеря предписанных норм и неумение приобрести новые, внутренние нормы. Пошлость приспособливается к прогрессу, выдает себя за то, чего ей не хватает. Хамство откровенно бунтует. Но генеалогия у них сходная.

Одна из тенденций исторического процесса — движение от племенной и сословной индивидуальности к личности, определяющей себя целиком изнутри, — к "сильно развитой личности" (Достоевский). Но личность складывается медленно, а пошлость и хамство — как автомобили с конвейера. Если прогресс идет сравнительно гладко, индивидуальность всего только пошлет. Если коряво — больше прорывается хамство. Модель нарисована М. Цветаевой в "Крысолове". Господство пошлости — Гаммельн. Хамство обрушивается на переполненные закрома, как нашествие крыс. Пошлость — черта сравнительно благополучной жизни. При неблагополучии пошлость легко уступает дорогу хамству. Пошлость — вялая форма лихорадки прогресса, хамство — острая (иногда летальная). В некоторых странах гаммельнское и крысиное чередуются, как день и ночь (взрыв тридцатилетней войны, два века мещанства, взрыв имперского шовинизма, Веймар, Гитлер, ФРГ). Пошлость сравнительно миролюбива и допускает развитие гения (Веймар Гете и Веймар братьев Манн, ФРГ), по мере сил опошляя его. Хамство вырезает Цицерону язык*. Но выбор между пошлостью и хамством — ложный выбор. Пошлость не спасает от хамства, так же как хамство не спасает от пошлости. Пошлость — мнимая стабильность, хамство — мнимый динамизм (мы к этому обстоятельству еще вернемся).

Пошлость комфортабельнее. Это болезнь, с которой можно ездить на курорты... Так болеют цивилизованные люди. Не то, что дикари, вымирающие целыми деревнями

* Ср. "Бесов" Достоевского.

от туберкулеза или сифилиса. И все же болезнь остается болезнью и подтачивает организм. Глядя на корчи России или Китая, Запад видит не только свое прошлое (отсталость, слаборазвитость), но и свою агонию, свое возможное будущее. Видит своих бесов, как в гипертрофирующем зеркале романа Достоевского. В конечном счете различия между странами условны и недолговечны. Общая катастрофа может все сравнить.

Запад играл первую скрипку в распространении прогресса. А сейчас Восток первенствует в распространении кризиса прогресса. Этот кризис обостряет все болезни западного происхождения и прибавляет к общему чувству бездомности, затерянности, утраты лица, захлебывания в сверхзвуковых и сверхмыслимых темпах* еще одну особенную, незападную болезнь: чувство неловкости в чужом культурном кругу. Отсюда два синдрома (западнический и почвеннический), две болезненные односторонности мысли. И западники, и почвенники говорят о потере лица, и они правы. Но в своих рецептах врачи расходятся. Западники предлагают найти лицо в современном окружении, почвенники — в собственном прошлом. Те и другие как-то упускают из виду, что культура живет на перекрестке, в *одновременном* диалоге с прошлым (вертикальная ось) и современным окружением (горизонтальная ось), что и прошлое, и окружающее — не свое, а только могут стать почвой, опорой первого лица, я, совершающего выбор, что потонуть в прошлом — значит потерять себя так же, как уйдя с головой в современность.

Диалог требует двух лиц: я и ты. Не может быть диалога, если нет первого лица, нет его оценки, выбора, решимости. Безупречное ТЫ поглощает Я и становится ложным подобием Бога, кумиром, перед которым в прахе распростерто рабство (прогрессу или почве). Живое Я опирается на свое прошлое против современности, на свое окружение против прошлого и никому не рабствует. Жизнь культуры — это постоянное чувство напряжения, созданное вторжением чужого и отчуждением каких-то слоев прошлого, это поиски нового в старом и своего в чужом.

* "Мы так давно обогнали медлящих проводников в вечность..."
Р.М. Рильке.

При медленном развитии повороты истории ощущают только немногие; они и мучаются, и вырабатывают ответ на вызов; мучается Пьер Безухов, Андрей Болконский, а Ростовы не мучаются. Но при ускоренном развитии нельзя не заметить сдвигов. История входит в частную жизнь и требует от маленьких людей того, что и большим трудно решить: решить, что здесь, теперь, хорошо и что плохо.

Как из этого положения вышел Запад? Достиг ли он уровня "сильно развитой личности" (как ее определял Достоевский)? Конечно, нет, если не говорить о единицах: о Кьеркегоре, о Швейцере, о Симоне Вейль... Только очень немногие — где бы то ни было — держат в собственном сердце своего Бога, и в эту глубину, в эту почву пускают свои корни. Только совсем немногие умеют решать, когда суббота для человека, а когда человек для субботы. У этих единиц нерушимая почва в духе, и сам дух становится основанием их свободной, разумной, нравственной и прекрасной жизни. Таких людей на Западе не больше, чем на Востоке. Даже меньше (я попытаюсь объяснить, почему). Но выше средний уровень. Есть какой-то прожиточный минимум личностного развития, способности решать, без которого парламентские и другие механизмы свободного мира не могут работать, разваливаются (как в большинстве цветных колоний, которым англичане, уходя, оставили на пробу парламент).

Нельзя освободить слаборазвитую личность. Сколько бы ни выстроить электростанций, заводов, дорог, слаборазвитая личность не выдерживает свободы, отказывается от нее, приносит в дар Великому Инквизитору. Легенду о Великом Инквизиторе создал не англичанин, не француз, даже не испанец, а русский — Федор Михайлович Достоевский. Он чувствовал вокруг себя ауру незавершенных, шатких, не подготовленных к свободе душ. Отчего они такие, кто их испортил, можно спорить (и даже приписывать все зло жидомасонам), но факт сам по себе неопровержим. На Западе средний человек покрепче.

Теперь разберем, почему. Напомню еще раз, что развитие цивилизации расшатывает табу, заповеди, предписания. И вот на одном полюсе складывается личность, кото-

рая постигла дух заповедей, держит закон в сердце и может найти выношенный в сердце ответ на каждый вызов, а с другой стороны — пошлость и хамство. Происходит что-то вроде преломления луча или (более грубая модель) перегонки нефти. Вверх бензин, вниз мазут. Есть народы, совсем мало преломленные; в них господствует белый свет. Они остаются на периферии истории. В терминах перегонки нефти они еще сырые. Есть народы умеренно преломленные (или перегнанные). Крайности в них не слишком далеко разошлись, остались рациональными (например, типы фанатического аскета и жизнерадостного скептика во Франции), не дошли до бездны иррационального (как самодур и юродивый в России). Такие народы здоровее, жизнеспособнее. Один англичанин — сплин (шутили в тридцатые годы), два англичанина — бокс, три англичанина — парламент, много англичан — цивилизация; т.е. один англичанин — не Бог весть что, но много англичан — цивилизация.

А есть народы, слишком сильно перегнанные, поражающие то сияющей высотой, то мерзостью. Это мутанты истории, в них возникают новые духовные движения, но плоды движений пожинаяют другие, а сами мутанты теряют равновесие и проваливаются в бездны, которым слишком открыты.

Состояние мутанта нестабильно, и время от времени побеждает порыв к здоровому смыслу и золотой середине. Но даже в золотой середине мутанты перебарщивают и выходит эта середина неустойчивой (как состояние еврейства в земле обетованной, как гаммельнское в Германии). Мутант даже в состоянии антимутантности остается мутантом. У него другое чувство формы, чем у народов подлинно золотой середины. Бездна не вне этой формы, а внутри; от нее никуда нельзя деться.

Противоречия между народами вне бездны и народами с бездной внутри глубже и фундаментальнее, чем споры диаспоры и земли, Запада и Востока. Но ядро Запада — это народы, сдвинутые к золотой середине (англичане, французы, голландцы). Если они чем грешат, то не чрезмерной ангеличностью или демонизмом. По классификации Эдвина Рейшауэра, Германия — вне ядра Запада, это переходный тип. В некоторых случаях ее можно отнести к "правиль-

ным” (устойчивым, умеренным) нациям, в других — к мутантам. Трагизм ее истории иногда напоминает библейский. К мутантам, бесспорно, принадлежит Россия, в известном смысле — Индия (хотя ее история — скорее мистерия, чем трагедия) *.

От евреев пришел свет в усредненный Рим, и Рим, подхватив фонарь апостолов, начал новую жизнь, а евреям досталось разрушение храма; Лютер начал реформацию: плоды ее победы пожали англичане, голландцы, скандинавы; немцам — Тридцатилетняя война. Очень может быть, что классическая русская литература пролила новый свет миру; но жизнь в России от этого не стала лучше**. Великие вспышки света, рождаясь в нестабильности, увеличивают эту нестабильность, доводят ее до катастрофы...

Увы, география духовных глубин совпадает с географией мерзости. Где чистая духовность нагорной проповеди, там и грязная суeta рынка. Где Иисус, там Иуда; где Экхарт и Бах, там Гитлер и Гиммлер. Где Мышкин, там Смердяков. Образцовые нации не доходят до такой мерзости, как нации-мутанты. Но без духовных вершин, поднимающихся рядом с черными ямами, нельзя было бы построить нашу общую культуру. Время от времени нужен ”свет с Востока”. Дело ”Востока” (т.е. мутантов) — выдвигать духовных гениев, а дело ”Запада” (образцовых, уравновешенных наций) что-то из опыта гениев вносить в повседневную жизнь, усреднить, довести до среднего человека и распространить по всему миру, как закон. Сейчас, по-види-

* Индия не получила ничего доброго от того, что колесо дхармы докатилось до Японии; но, кажется, и ничего худого. Как неподвижный двигатель, Индия осталась в какой-то мере вне истории.

** Достоевского называют пророком русской революции. В некоторых революционных кругах им зачитывались. Толстого любил Ленин и прямо продолжал ”срывание всех и всяческих масок”. По отношению к Западу, либерализму, прогрессу оба величайших русских писателя действительно были нигилистами и сознательно подрывали почву западной традиции, в которую неловко пускала корни петербургская Россия. Русская литература и русская критика сыграли свою роль в крахе русской свободы.

мому, Запад нуждается в новой порции света с Востока; а Восток — в новой волне вестернизации...

Мутанты сами по себе никогда не станут вождями человечества. Им не хватает равновесия. Их история — это история смут, тридцатилетних войн. Не дай Бог втянуть в этот хаос весь мир! Ошибка почвенников не в том, что Россия может рождать свет (может!), а в переоценке русской способности просветить среднего человека и создать светлый порядок. В самой России Мышкины и Безуховы слишком исключительны. Их реже можно встретить, чем Пиквиков в Англии; а Смердяковых — хоть пруд пруди.

Мутантам все время грозит падение, развал, разгул хамства; уравновешенным нациям — банальность, стереотипность. Поэт — не с гаммельнцами и не с крысами. Поэт — с Крысоловом.

Но к несчастью, в жизни все перепутывается. И поэт может оказаться с гаммельнцами, как Бунин, и с крысами, как Маяковский.

В охране культуры есть опасность защиты опошленного, ждущего ломки. А в новаторстве часто проступает хамство. Пошлость хрюкает в разносной рецензии замоскворецкого жителя на "Руслана и Людмилу", в статье Романа Гуля "Прогулки Пушкина с хамом". Хамство прорывается в антикультурных страницах Льва Толстого. Маяковский — и новатор, в желтой кофте хама (я сразу смазал карту будня), и хам в облике новатора (пускай земле под ножами припомнится, кого хотела опошлить!). Мы слишком хорошо помним, как реализовывались эти метафоры...

Мой бывший оппонент М.А. Лифшиц, видимо, очень остро чувствовал заряд хамства в новаторском искусстве. Но, к сожалению, он не учитывал, что зализанное, стереотипное, банальное, пошлое порождает взрыв хамства гораздо прямее, чем проповедь взрыва. Искусство вообще опасно. Искусство при свете совести — вечно больной вопрос. Не только для Цветаевой, для всех*.

* Это недооценивает и Б. Михайлов в своей полемике против эстетизма (Вестник РХД, № 134). Не в эстетизме дело (и не в модернизме), а в антиномиях духа. И не так просто найти виноватых.

В 1965 году, споря с Лифшицем, я настаивал, что идеи модерна сами по себе не хороши и не дурны. Все зависит от того, как их интерпретировать. В интеллигентной голове новаторская идея обнаруживает свою плодотворность, а хам превратит во что-то чудовищное любую идею. Мне возражали: в том числе непротивление злу насилием? Споры заставили меня признать, что известные комплексы идей более взрывоопасны, чем другие. Что научная идеология легче может быть использована во вред, чем религиозная. И все же только легче. Если шатание умов очень велико, то взрыв может произойти и от искры черносотенной религиозности... Так не случилось в России, но именно так случилось в Иране.

Хамство возникает всюду, где норма расшатана и опошлена. Хам, на первый взгляд, древнее пошлости, но, может быть, его только легче разглядеть, а пошлость, пока она не разрослась, незаметна и долгие века могла действовать потихоньку, не обращая на себя внимания.

Хама сразу запомнили и встроили в миф. Пошлость осталась без имени собственного. Мне хочется исправить эту историческую несправедливость. Может быть, у Сима, Хама и Яфета была еще такая незаметная сестра — пошлость? Пожет быть, почтительность Сима и Яфета немного опошлилась, и Хам был своего рода сердитым молодым человеком, новым левым, Владимиром Маяковским, восставшим против опошленного старого символизма? Без опошления норм мне трудно представить себе взрыв хамства. Без опошления Веймарской свободы я не могу себе представить поэта, сочинившего "Дрожат старые кости". У этого несчастного человека быстро наступило разочарование. Хамство не было его родной стихией. Тем более замечательно, что оно захватило его. Или, что Блок, который не был хамом, писал (чувствуя диктовку гения, водившего его пером) :

Уж я ножичком
Полосну, полосну...

Без господства безличности, гениально описанной Хайдеггером, я не могу себе представить преклонения Хай-

деггера перед Гитлером. Без превращения всех идей и ценностей в заигранные патефонные пластинки не могу себе представить нынешний взрыв террора.

Истина сперва становится банальной, стирается, как монета, долго ходившая по рукам. Еще можно разглядеть, где орел, где решка, и чего монета стоит. Стершиеся две копейки стоят не меньше, чем новенькие. 2 x 2 — 4 остается истиной. Не прелюбы сотвори остается истиной. Но потерян внутренний смысл: не давай полу власти над умом, минуя сердце. Держи Бога в сердце и сердце в Боге. Держи невесту в сердце, как образ Божий... Осталось предписание, на которое сердце перестало откликаться. Монета стерлась, не видно ни орла, ни решки. Безличность, пошлость. И поэзия восстает против пошлости (ср. Поэму Горы).

Ах, Господи, если бы Хам от рождения был черным! Но от рождения он бел, и только постепенно чернеет. Хам — сын беззаботного пьяницы, забывшего, что истины надо рождать заново, не надеяться, что они и без нас пребудут. Без нас, если не перечеканивать монету, все сотрется. Все станет сперва банальным, потом пошлым — и откроется дорога хамству. Одна из самых важных задач воспитания — обновлять заповеди, рождать заново "не убий", "не лжесвидетельствуй", "не предай"...

Пошлость и хамство — цена за взрывное развитие личности. За философию Сократа. За речи Демосфена. Личностью становятся единицы, хамами — десятки, пошляками — сотни. И в конце концов пошляки попадают под власть хамов и создают культ величайших, гениальнейших хамов. В свободных странах пошляки обожают певцов и кинозвезд. В тоталитарных они обожают своего дуче, вождя, фюрера.

На Западе опошленная добропорядочность еще удерживает взрыв хамства. На Востоке — непобедимый блок пошлости и хамства. А личность? Личность всюду в обороне; и едва хватает сил сопротивляться. Стоит ли игра свеч? Держать ли нам еще знамя свободной личности или бросить под ноги торжествующим свиньям? Где гарантии, что общая свобода не приведет к новым взрывам низких страстей, что чувство ответственности вдруг вырастет, расширится и все спасет? Что новый шаг вперед ничтожно малой

кучки не вызовет новых неожиданных последствий похуже прежних?

Остается одно — верить. И я верю, что сильно развитая личность стоит выше всех издержек, что она сама — смысл и свет. И свет во тьме светит, и тьма не объемлет его.

1981-1982.



СОДЕРЖАНИЕ

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

- Г. Померанц.* Акафист пошлости 4
А.Н.Кленов. Философия неуверенности 55
Эмиль Коган. "Марксистом можешь
ты не быть..." 85
Ф.Розинер. Посмертная хроника 95

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

- А.Синявский (Абрам Терц).* Река и песня 121
Майя Каганская. Шутовской хоровод 139
З.М. В "Вестник"? 191

СРЕДИ КНИГ

- Борис Гройс.* Мамардашвили и Пятигорский:
"Символ и сознание" 201

- ПОЧТА. 206



Отвергнутые рукописи не возвращаются и по их поводу редакция в переписку не вступает.

Цена номера 40 фр.фр.

Подписка в редакции на 4 номера – 150 фр.фр.

Пересылка за счет подписчика.